

ГАЙ ДОЙЧЕР

СКВОЗЬ ЗЕРКАЛО ЯЗЫКА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 81'22
ББК 81
Д55

Серия «Эксклюзивная классика»

Guy Deutscher
THROUGH THE LANGUAGE GLASS
Why the World Looks Different
in Other Languages

Перевод с английского *Н. Жуковой*

Серийное оформление *Е. Фerez*

Дизайн обложки *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения автора и литературных агентств
United Agents LLP и Synopsis.

Дойчер, Гай.

Д55 Сквозь зеркало языка / Гай Дойчер ; [пер. с англ. Н. Жуковой]. — Москва: Издательство АСТ, 2019. — 448 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-114373-2

Почему в английском языке предметы не имеют категории рода, а в суахили — наоборот, множество родов? Почему великий Гомер упорно именовал зеленое Эгейское море «виноцветным»? Почему обитатели древнего Междуречья так и не пришли к выводу, считать ли рабов грамматически одушевленными или неодушевленными предметами? И, наконец, какие языковые сюрпризы способны превратить в ад жизнь начинающего переводчика поэзии?

Книга Гая Дойчера «Сквозь зеркало языка» — одно из тех немногих научно-популярных произведений, которые становятся литературными сенсациями и международными бестселлерами.

Да и может ли быть по-другому, если в этой блестящей остроумной работе автор в шуливой форме повествует о столь серьезных и важных для каждого человека вещах, как влияние, оказываемое языком на наше мышление и ментальность, — а порой и на судьбы целых народов?

УДК 81'22
ББК 81

© Guy Deutscher, 2010
© Перевод. Н. Жукова, 2013
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

Пролог

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И МЫШЛЕНИЕ

В Талмуде сказано: «Четыре языка хороши, чтобы использовать их: греческий для песни, римский для битвы, сирийский для плача и еврейский для разговора». Другие авторы были не менее решительны в своих суждениях о том, для чего пригодны разные языки. Император Священной Римской империи Карл V, король испанский, эрцгерцог Австрии, владевший несколькими европейскими языками, признавался, что говорит «по-испански с Богом, по-итальянски с женщинами, по-французски с мужчинами и по-немецки со своей лошадью».

Язык народа, как нам часто говорят, отражает его культуру, психологию и образ мышления. Люди в тропическом климате беспечны настолько, что вполне закономерно растеряли почти все свои согласные. И достаточно только сравнить мягкие звуки португальского языка с резкостью испанского, чтобы понять суть разницы между этими двумя соседними культурами. Грамматика некоторых языков попросту недостаточно логична для выражения сложных идей. С другой стороны, немецкий язык — идеальное средство для максимально точного фор-

мулирования философского глубокомыслия, это очень упорядоченный язык, поэтому и сами немцы мыслят весьма упорядоченно. (Но разве не слышен в его безрадостных, лишенных изящества звуках прусский шаг?) В некоторых языках нет будущего времени, поэтому их носители, естественно, понятия не имеют о будущем. Вавилоняне с трудом поняли бы название «Преступление и наказание», потому что на их языке для описания того и другого использовалось одно и то же слово. Скалистыми фьордами веет от резких интонаций норвежского языка, а в скорбных мелодиях Чайковского можно расслышать твердое русское «л». Французский — не только романский язык, но и язык романов. Английский слишком легко приспосабливается, можно сказать, что это язык с неразборчивыми связями, а итальянский... ох уж этот итальянский!

Многие застольные беседы украшаются подобными виньетками, потому что мало какие темы более пригодны для размышлений, чем характер различных языков и их носителей. И, однако, стоит эти возвышенные наблюдения перенести из веселой пиршественной залы в стылый холод лаборатории, как они тут же опадут, как пена анекдота — в лучшем случае забавного и бесцельного, в худшем — демонстрирующего нетерпимость и глупость. Большинство иностранцев не могут уловить на слух разницу между горной Норвегией и бесконечными шведскими равнинами. Трудолюбивые датские протестанты обрели на свою ледяную, открытую всем ветрам почву больше согласных, чем любое праздное тропическое племя. И если мышление немцев систематично, то с тем же успехом это мог-

ло бы быть из-за того, что их чрезвычайно прихотливый родной язык так измотал их умственные способности, что они не справились бы с дополнительными неправильностями. Говорящие по-английски могут подолгу беседовать о будущем в настоящем времени («*I'm flying to Vancouver next week...* — Я лечу на той неделе в Ванкувер...»), ничуть не теряя способности воспринимать будущее. Нет такого языка — даже у самых «примитивных» племен, — который по своей природе непригоден для выражения самых сложных идей. Некоторый недостаток языковых возможностей для философствования сводится просто к нехватке специализированного словаря абстрактных терминов и, возможно, каких-то синтаксических конструкций, но их можно легко набрать так же, как все европейские языки унаследовали свой набор философских инструментов из латыни, которая, в свою очередь, массово заимствовала их из греческого. Если бы носители любого племенного языка озаботились этим, они и сегодня легко могли бы сделать то же самое, и можно было бы без труда рассуждать по-зулусски о сравнительных достоинствах эмпиризма и рационализма или разглагольствовать о феноменологии экзистенциализма на западногренландском.

Если бы размышления о нациях и языках витали только над аперитивами, их можно было бы извинить как безобидные, хоть и бессмысленные, развлечения. Но вышло так, что с этим предметом веками упражнялись и могучие ученые умы. Философы всех стран и направлений становились в очередь, чтобы заявить, что каждый язык отражает ка-

чества народа, который на нем говорит. В XVII веке англичанин Фрэнсис Бэкон объяснял, что можно «на материале самих языков сделать достойные самого внимательного наблюдения выводы о психическом складе и нравах народов, говорящих на этих языках»*. «Все это подтверждает, — соглашается веком позже француз Этьен де Кондильяк, — что каждый язык выражает характер народа, который на нем говорит»**. Его более молодой современник, немец Иоганн Готфрид Гердер, разделяет это мнение: «В каждом языке отпечатлелся рассудок и характер народа. У деятельных народов — изобилие наклонений, у более утонченных наций — множество возведенных в ранг абстракций свойств предметов»***. Коротко говоря, «гений народа более всего открывается в физиогномическом образе его речи»****. Американец Ральф Уолдо Эмерсон в 1844 году подытожил: «Вывод о духе народа мы в большой степени делаем на основании его языка, что сродни памятнику, в который всякий чем-то замечательный индивидуум вложил хотя бы один камень».

У этого впечатляющего интернационального единодушия есть одна проблема — оно рушится сразу же, как только мыслители переходят от общих принципов к размышлению о конкретных свойствах тех или иных языков и о том, что эти лингвистические свойства могут рассказать о качествах

* Пер. Н. Федорова. — *Здесь и далее постраничные примечания принадлежат переводчику, если не оговорено иное.*

** Пер. И. Шерн-Борисовой.

*** Пер. А. Михайлова.

**** Пер. тот же.

конкретных народов. В 1889 году слова Эмерсона были даны в качестве темы для сочинения 17-летнему Бертрану Расселу, когда тот учился на подготовительных курсах в Лондоне, готовясь ко вступительному экзамену в кембриджский Тринити-колледж. Рассел глубокомысленно заявляет: «Мы можем изучать характер народа по идеям, которые лучше всего выражает его язык. Например, французский содержит такие слова, как *spirituel** или *l'esprit*** , смысл которых по-английски едва ли можно выразить вообще; откуда мы можем сделать вывод, подтвержденный реальными наблюдениями, что у французов больше *esprit* и они более *spirituel*, чем англичане».

С другой стороны, Цицерон делал ровно противоположные выводы из отсутствия слова в языке. В трактате «Об ораторе» (*De oratore*, 55 г. до н.э.) он произносит длинную проповедь об отсутствии греческого эквивалента латинского слова *ineptus* (означающего «неуместный» или «бестактный»). Рассел заключил бы, что у греков были такие безупречные манеры, что им просто не требовалось слово для описания несуществующего явления. Не таков был Цицерон: с его точки зрения, отсутствие слова доказывало, что этот порок был так широко распространен среди греков, что они его даже не замечали. Язык римлян и сам нередко подвергался порицанию. Примерно через двенадцать столетий после Цицерона Данте Алигьери в своем труде «О народном красноречии» (*De vulgari eloquentia*) дает обзор итальянских диалектов и заявляет, что «речь рим-

* Духовный, одухотворенный (*фр.*).

** Дух (*фр.*); о других значениях этого слова см. ниже.

лян — не народная, а, скорее, убогая — безобразнее всякой другой итальянской народной речи; да это и неудивительно, потому что и уродством своих обычаев и одежды они явно отвратительнее всех остальных»*.

Никто даже в мыслях не имел подобных настроений по отношению к французскому языку, который не только романтичен и *spirituel*, но также, конечно, образец логики и ясности. Мы это знаем благодаря не кому иному, как самим французам. В 1894 году знаменитый критик Фердинан Брюнетьер сообщил членам Французской академии по случаю своего избрания в это прославленное учреждение, что французский язык — «самый логичный, самый понятный и ясный язык, на котором когда-либо говорил человек». Брюнетьер в свою очередь обосновал это авторитетом длинного ряда знатоков, включая Вольтера, который в XVIII веке утверждал, что уникальность гения французского языка состоит в его ясности и упорядоченности. А сам Вольтер обязан этим прозрением потрясающему открытию, сделанному на целое столетие раньше, точнее в 1669 году. Французские грамматисты XVII века десятилетиями пытались понять, почему французский язык обладает ясностью превыше всех прочих языков в мире и почему, как заявил один из членов академии, французский одарен такой ясностью и точностью, что простой перевод на него имеет эффект настоящего пояснения. Наконец после многолетних трудов в 1669 году Луи ле Лабурер обнаружил, что ответ — сама простота язы-

* Пер. Ф. А. Петровского.

ка. Его мучительные грамматические изыскания показали, что, в отличие от носителей других языков, французы «во всех высказываниях точно следуют ходу мысли, и это есть порядок Природы». Ну и нечего удивляться, что французский не может быть непонятным. Как позднее сказал мыслитель Антуан де Ривароль: «То, что непонятно, может быть английским, итальянским, греческим или латынью», но *ce qui n'est pas clair n'est pas français* («что непонятно — то не французское»).

Не все интеллектуалы мира, однако, согласны с этим анализом. Столь же искушенные мыслители — довольно странно, что в большинстве своем не из Франции, — придерживались иного мнения. Известный датский лингвист Отто Есперсен, например, был уверен, что английский язык превосходит французский по целому ряду признаков, включая логику, так как, в отличие от французского, английский — это «методичный, энергичный, деловитый и серьезный язык, который не слишком заботится о пышности и элегантности, зато придает значение логичности». «Каков язык, таков и народ», — заключает Есперсен.

Великие умы оказались еще более плодovitы, когда перешли от вопроса, как язык *отражает* характер его носителей, к более важному вопросу о том, как язык *влияет* на мыслительные процессы его носителей. Бенджамин Ли Уорф, к которому мы вернемся в одной из следующих глав, околдовал целое поколение, утверждая, что наша привычка расчленять мир на объекты (например, «камень») и действия (например, «падать») не есть правдивое отображение реальности, но лишь искусственное

разделение, навязанное нам грамматикой европейских языков. Согласно Уорфу, языки американских индейцев, в которых существительное и глагол сочетаются в одном слове, диктуют «монистический взгляд» на вселенную, поэтому их носители просто не поймут нашего различия между объектами и действиями.

Спустя поколение Джордж Стайнер в своей книге 1975 года «После Вавилона» пришел к выводу, что «традиции предварения в нашем синтаксисе», наше «проговариваемое будущее», или, другими словами, существование будущего времени глагола, — то, что дает нам надежду на будущее, спасает от нигилизма, даже от массового самоубийства. «Если бы наша система времен была менее прочной, — сказал Стайнер, — мы бы могли не выдержать». (На него не иначе как снизошло пророческое вдохновение, поскольку ежегодно вымирают десятки языков, в которых нет будущего времени.)

Совсем недавно один философ произвел революцию в нашем понимании истории Тюдоров, выявив настоящую причину разрыва Генриха с папой. Он установил, что англиканская революция была не результатом отчаянного желания завести наследника, как это обычно преподносится, и не циничной уловкой, направленной на присвоение церковных богатств и владений. Рождение англиканской теологии было неизбежно из-за свойства английского языка: поскольку английская грамматика занимала промежуточное положение между французской и немецкой, то и английская религиозная мысль оказалась на полпути между (французским) католицизмом и (немецким) протестантизмом.



По высказываниям о языке, культуре и мышлении кажется, что крупные мыслители в своих *grandes oeuvres* не слишком далеко ушли от мыслителей мелких с их *hors d'oeuvre**. Можно ли надеяться, что при столь неаппетитной предшествующей истории из дискуссии получится что-то съедобное? Если отделить несостоятельное и невежественное, нелепое и фантастическое, останется ли что-то осмысленное, что можно сказать о соотношении между языком, культурой и мышлением? Отражает ли язык культуру общества в каком-то более глубоком смысле, чем такие мелочи, как количество слов для обозначения снега или стрижки верблюдов? И что еще более спорно — могут ли разные языки приводить своих носителей к разным мыслям и восприятию?

Для большинства серьезных ученых сегодня ответ на все эти вопросы — гулкое «нет». Доминирующая точка зрения среди современных лингвистов такова, что язык есть прежде всего инстинкт, другими словами, основы языка закодированы в наших генах и одинаковы для всего человечества. Как блестяще доказывал Ноам Хомский, марсианский ученый заключил бы, что земляне говорят на диалектах одного языка. Как гласит его теория, все языки

* Игра слов: *grande oeuvre* по-французски означает и «фундаментальное произведение», и алхимическое «великое искусство» (т.е. превращение металлов в золото), и «основное блюдо» (трапезы). Именно в последнем значении оно противопоставляется *hors d'oeuvre*, что в кулинарном контексте означает «закуска», а в более общем — «нечто излишнее, необязательное».

в своей основе объединены одной и той же универсальной грамматикой, общими подразумеваемыми понятиями, одинаковой степенью системной сложности. Поэтому важны (или по крайней мере заслуживают исследования) только те аспекты языка, которые раскрывают язык как выражение внутренней природы человека. Наконец, общее мнение таково, что если наш родной язык и влияет на то, как мы думаем, то это влияние пренебрежимо мало, тривиально — и в основном мы все думаем одинаково.

На следующих страницах, однако, я попытаюсь убедить вас — возможно, вопреки первоначально сложившемуся мнению и, уж конечно, вопреки модному сегодня академическому подходу, — что ответ на вышеприведенные вопросы — «да». В своей речи в защиту культуры я буду доказывать, что культурные различия отражаются в языках очень глубоко, а растущий массив научных исследований убедительно показывает, что наш родной язык может влиять на то, как мы думаем и воспринимаем мир. Но прежде чем вы переставите эту книгу на одну полку с другими безумцами, между последним сборником кулинарных рецептов знаменитостей и руководством «Как подружиться с золотой рыбкой», я дам вам торжественное обещание, что мы не будем потакать беспочвенному пустословью какого-либо рода. Мы не будем навязывать «монистический взгляд» на какие-нибудь вселенные, мы не будем воспарять до горделивых вопросов вроде того, в каком языке больше *esprit*, и не станем погружаться в загадки, какие культуры более «глубинны». Проблемы, которые будут занимать нас в этой книге, совсем другого рода.

На самом деле вопросы культуры, которыми мы займемся, относятся к самому приземленному уровню обыденной жизни, а интересующие нас аспекты языка лежат на том же уровне повседневной речи. Потому что, оказывается, самые значительные связи между языком, культурой и мышлением надо искать там, где меньше всего ожидаешь, в тех местах, где здравый смысл предполагает, что все культуры и все языки должны быть совершенно одинаковы.

Культурные отличия высокого уровня, которые мы сразу замечаем — в музыкальном вкусе, половой морали, требованиях к одежде или застольных манерах, — все в каком-то смысле поверхностны, именно потому, что мы их так остро замечаем: мы знаем, что порнография — это лишь вопрос географии, и мы не питаем иллюзий, что люди по всему земному шару разделяют одни и те же предпочтения в музыке или одинаково держат вилки. Но культура может оставлять более глубокие отметины там, где мы не опознаем их как таковые, где ее традиции столь неизгладимо врезались во впечатлительные юные умы, что мы выросли, принимая их за нечто совершенно иное.

Чтобы все эти утверждения обрели хоть какой-то смысл, нам надо сначала расширить понятие культуры за пределы его обычного использования в повседневном языке. Какова ваша первая реакция на слово «культура»? Шекспир? Струнные квартеты? Изящно оттопыренный мизинчик руки, держащей чашку? Естественно, то, как вы понимаете «культуру», зависит от вашей собственной родной культуры — как покажет беглый взгляд сквозь призму трех толковых словарей.

Английский:

Культура — культивирование, состояние культивирования, улучшение, результат культивирования, тип цивилизации.

Словарь английского языка
под ред. У. Чамберс, Р. Чамберс

Немецкий:

Культура — *Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Errungenschaften einer Gesellschaft* (все интеллектуальные и художественные достижения общества).

Большой толковый словарь немецкого языка
под ред. Г. Штерига

Французский:

Культура — *ensemble des moyens mis en oeuvre par l'homme pour augmenter ses connaissances, développer et améliorer les facultés de son esprit, notamment le jugement et le goût* (совокупность средств, используемых человеком, чтобы увеличивать его знания, развивать и совершенствовать умственные способности, в частности суждения и вкус).

Словарь французского языка *ATILF**

Несомненно, многие возразят, что мало что лучше подтверждает укоренившиеся стереотипы о трех великих европейских культурах, чем то, как сами они определяют концепцию «культуры». Разве определение Чамберсов — не сама квинтэссенция

* *ATILF* — «Анализ и цифровая обработка французского языка» (фр.).

английскости? Довольно непрофессиональное в своем ни на что не претендующем списке синонимов, вежливо избегающее любых неудобных определений. А что может быть более немецким, чем немецкое определение? Нешадно доскональное, чрезмерно заумное, оно беспощадно вбивает понятие в голову. А французское? Высокопарное, безнадежно идеалистичное и одержимое *le goût**.

Когда о «культуре», однако, говорят антропологи, они используют это слово в совершенно ином смысле, нежели в определениях выше, и в гораздо более широком значении. Научная концепция «культуры» возникла в Германии в середине XIX века, но четкое определение ей впервые дал английский антрополог Эдуард Тайлор в 1871 году. Его основополагающий труд «Первобытная культура» начинается со следующего определения, которое и по сей день цитируют во введении в данный предмет:

«Культура в широком этнографическом смысле слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества»**. Культуру здесь понимают как все человеческие черты, которые проявляются не как инстинкты, — другими словами, как синоним воспитания и противоположность «природе». Таким образом, культура охватывает все аспекты нашего поведения, которые эволюционировали как социальные условности и передавались через обучение из поколения в поколение. Ученые

* Вкусом (*фр.*).

** Пер. Д. Коропчевского.